

В.Х. Даватц

«НА МОСКВУ»

Из истории белой борьбы



• ОКАЯННЫЕ ДНИ •

Окаянные дни (Вече)

Владимир Даватц

**«На Москву». Из
истории белой борьбы**

«ВЕЧЕ»

1921

Даватц В. Х.

«На Москву». Из истории белой борьбы / В. Х. Даватц —
«ВЕЧЕ», 1921 — (Окаянные дни (Вече))

ISBN 978-5-4484-7978-6

Впервые в России в одной книге публикуются основополагающие произведения Владимира Христиановича Даватца (1883—1944). Автор — профессор-математик Харьковского университета вступил добровольцем в Вооруженные силы Юга России и закончил борьбу в рядах Русской армии в 1920 г. В эмиграции В.Х. Даватц стал видным публицистом и одним из помощников генерала П.Н. Врангеля. В своих воспоминаниях Даватц рассказывает о службе на белогвардейском бронепоезде «На Москву», встречах с генералами П.Н. Врангелем и А.П. Кутеповым. В произведениях «Русская армия на чужбине» и «Годы», автор рассматривает существование армии в эмиграции и процесс ее постепенного преобразования в воинские союзы

ISBN 978-5-4484-7978-6

© Даватц В. Х., 1921

© ВЕЧЕ, 1921

Содержание

«На Москву»	5
К Ростову	5
Литургия верных	28
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Владимир Христианович Даватц

«На Москву»

Из истории белой борьбы

Сборник

«На Москву»

К Ростову

Январь 1920 года. В пути. Сегодня утром в нашу теплушку вошел капитан Д. и сказал: «Поздравляю вас с Новым годом и новым походом». В этом уже и до его прихода не было никакого сомнения. Нас еще до чая вызвали спешно грузить снаряды: видно было, что куда-то мы спешим, и, слава Богу, на этот раз не от Москвы, а на Москву. Все было охвачено каким-то радостным волнением: как будто и впрямь кончался этот бесконечный «драп», по образному кадетскому выражению.

Я вспоминаю, как полмесяца тому назад я робко вступил в Ростове на наш бронепоезд. Тогда говорили, что мы сразу едем в бой. Но вместе с остальными «драпающими» мы переехали через мост у Батайска и засели в безнадежной дыре – Старо-Минской. Засели в каком-то раздумье. Потом пришли вести о взятии красными Ростова и Таганрога. И мы, простояв с неделю в Старо-Минской, «драпанули» прямо на Екатеринодар, задержавшись на станции Тимашевка. А теперь, должно быть, что-то произошло: нас отправляют, кажется, отвоевывать Ростов. Да, полмесяца я уже солдатом. А ведь почти только месяц тому назад я сидел в качестве члена Управы в Харькове, который судорожно сжимался от наступающих красных. Встречались, говорили, что-то делали, что-то подписывали, а сами думали: как уехать? как бы не застрять в этой сутолоке «разгрузки»? Мне удалось выбраться за два дня раньше Управы, хотя, простояв на вокзале эти два дня, я, как оказалось, уехал с Управой в один и тот же день, 25 ноября. Было мучительно стыдно за свою слабость. Вспоминались слова одного из коллег:

– В этот момент никто не должен уходить со своего поста.

И, сидя в ожидании отправления в темном коридоре на каком-то столе, я мучительно думал о том, что на моей общественной репутации легло тяжелое несмываемое пятно. Что когда, допустим через месяц, мы выгоним из Харькова большевиков, трудно мне будет говорить тем тоном, на который я до сих пор имел право. И вспомнилась моя последняя статья в «Новой России», статья, которая написана была поистине моими нервами и кровью. «Если, чтобы истинно полюбить, – писал я, – надо оставить отца и мать свою, то теперь наступает этот час больше, чем когда-либо прежде. И может быть, именно теперь, когда враг временно торжествует, нужно не уходить в свою скорлупу, но громко и смело закричать: „Да здравствует Добровольческая армия“». Статья произвела впечатление: ко мне подходили прямо на улице и пожимали руки. Даже Евграф К., член Церковного Всероссийского собора, который, по-моему, терпеть меня не может, остановился, встретив меня у редакции, и сказал что-то прочувственное. И вот теперь первое, что я делаю, – уезжаю раньше, чем я имею право уехать.

И тут, в этом темном коридоре, блеснула в первый раз яркая мысль. Можно искупить эту вину и смыть со своего имени этот позор: надо вступить в армию. Сколько раз до этого та же мысль тревожила мою совесть. Но тогда была у меня моя мать. Я бросил ее теперь накануне ее смерти. В маленькой комнатке моих друзей, покинутая мною, она найдет себе вечный

покой. Но ведь иначе было нельзя. И теперь я свободен. От всех, кого я люблю, я имею право потребовать, чтобы они не мешали моему решению, – от всех, кроме нее. Последнее служение моей родине должно быть таким, чтобы отбросить все личные привязанности, потушить в себе все иные помыслы, кроме одного: отдать, если нужно, свою жизнь. И как-то особенно ярко вспомнился сонет, который я написал несколько лет тому назад:

И было сказано: на лютне у тебя
Всего лишь три струны под нежною рукою,
Их берегись порвать – с последнею струною
Порвется голос твой и жизнь стогорит твоя...
И в бурном омуте прошло немало лет.
Звучал огонь любви и холод расставанья.
Звучали радости, победы и страданья:
Две струны порваны, двух струн на лютне нет.
Но есть одна струна, не порвана донине.
Я с ней слагаю гимн единственный святыне,
Что властвует всецело над душой.
Для родины моей, несчастной и усталой,
Струну последнюю я рву на лютне старой.
И блещет молодость, и крепнет голос мой.
Но есть одна струна, не порвана донине.

Но я решил еще попробовать приложить свои силы в Ростове. Там была газета, там был Центральный Комитет нашей партии, туда стекалось со всех концов самое яркое, самое интеллектуальное. Туда, в эту столицу России, потянулся я с волною всероссийского беженства. Промелькнули две недели переезда, который можно назвать просто кошмаром. В грязной холодной теплушке, в поезде, где умирало почти ежедневно по человеку, плечо к плечу с больным офицером в сыпном тифу. Но весь этот кошмар принимался мною без ропота, без страха. Принимался он как испытание моей силы и моей воли, как тренировка для будущих испытаний и будущих кошмаров. И спокойно, и твердо, без психологии беженца, прибыл я в Ростов.

А там все пошло быстро. В этом городе – *ragueni*, конечно, ничего нельзя было делать. Писались резолюции, спорили, постепенно впадали в панику и запасались деньгами и заграничными паспортами. И в один прекрасный день из политического деятеля и профессора я стал солдатом бронепоезда «На Москву». Мы едем теперь в бой. Только бы найти в себе мужество и быть стальным во время боя.

2 января. Кущевка. База. Я успел поговорить более или менее по душам с тремя офицерами, а с одним из них даже подружился. Прибыв на поезд, я был направлен к старшему офицеру, капитану З. Я был в штатском костюме, но уже принятым на военную службу. И эта двойственность особенно меня смущала.

Капитан З. принял меня просто, предложил сесть в купе, и в этом *tete-a-tete*е пришлось рассказать ему вкратце свою биографию и те причины, которые побудили меня поступить в армию. Я всегда смущаюсь, когда говорю с людьми об этих причинах. Я вспоминаю последние разговоры в Ростове, те полуулыбки и то замешательство, которое всегда возникало, когда мне приходилось сообщать о своем решении.

Впрочем, я не могу с чувством глубокой признательности не вспомнить несколько встреч и разговоров: как бы твердо ни было мое решение, трудно было осуществить его без дружеской поддержки. Я уходил в армию, которая погибала. Не в момент торжества и подъема, но в момент ее распада и унижения я шел «защищать погибшее дело», по выражению одного из моих друзей. Буду ли я в состоянии взять на себя эту тяжесть? Отказаться от привычного

уклада жизни, от своих навыков, поднять на свои плечи всю тяжесть солдатской жизни – это было не так легко осуществить.

И вот в Ростове я первый раз получил дорогую мне дружескую руку от товарища по редакции Г. Я ночевал в его комнате, прямо на полу, подстелив свою шубу. И всю ночь проговорили мы на волнующие меня темы. И не столько в словах его, сколько в тоне, теплом и задушевном, чувствовалось столько хороших ободряющих ноток. «Я боюсь только одного... Вы едете в армию, как поэт, – сказал он. – И может случиться, что будет ждать вас тяжелое разочарование. Но вы все же хорошо делаете: так надо». И лежа рядом с ним на полу, в темной комнате, в которую едва-едва пробивался свет, я горячо обнял его, еврея, который не мог свободно, как я, идти в нашу армию, и поцеловал его.

– Спасибо вам, Абрам, – сказал я ему. – Я смотрю теперь на этих людей, бегающих в панике, – и у меня на душе спокойно и просветленно. Вы знаете, если люди еще помнят о порядочности и честности, то забыли о чести. Моя честь требует от меня этого шага...

Не могу не вспомнить с теплым чувством нашего проректора, профессора К., и его супругу. Они жили в лаборатории. Через всю комнату тянулся какой-то аппарат с натянутыми струнами. Я пришел к ним, в чужой подаренной мне гимнастерке, с только что купленными солдатскими погонями, завернутыми в бумагу. Профессор К. вдел мой первый погон, на который его супруга прикрепила недостающую пуговицу. И казалось мне, что это была не простая случайность: это было напутствие нашего родного университета. Екатерина Михайловна посмотрела на меня с каким-то особенным чувством и сказала:

– Я знала, что с вами этим кончится, после вашей последней статьи. Вы не поверите, как в ту минуту общей растерянности бодро прозвучал ваш голос. Теперь вы исполняете то, о чем говорили.

На лестнице я встретил ректора Высших женских курсов, профессора К. Я остановил его и сказал, что поступил на бронепоезд. Он задержался на секунду. Его резкие движения стали еще более нервными. На глазах его блеснули слезы. Он крепко поцеловал меня и, вбегая на лестницу, сказал кратко:

– Да хранит вас Бог.

Я, конечно, перед отъездом зашел в помещение, где жила наша городская управа. Первый раз, когда я пришел к ним в общежитие, где на койках лежали наши члены муниципалитета в какой-то прострации, где на полу валялись окурки и кусочки колбасы, – меня встретили сдержанно-холодно: они имели на это право. Теперь я явился к ним солдатом, и было видно, как растаял их лед и как решение мое примирило меня с ними.

Но мне важно было проститься с одним из них, Николаем Николаевичем К., председателем нашей Думы. Крупный и несколько грузный, добрый и честный, как породистый сенбернар, безупречный работник, имя которого украшало наш партийный список. В последние дни наших партийных междоусобий нас соединила общность наших взглядов. Мы не подчинились близорукому решению Национального центра – связать свои имена с махровыми именами черной сотни. На выборах в Харькове мы нарушили «дисциплину» и обратились с воззванием исправить допущенную ошибку. Нас вместе судили в комитете, когда мы перешли от обороны к наступлению. Нам вместе вотировали доверие. И теперь хотелось пожать его честную руку, получить его напутствие, как от отца, которого у меня нет. Он поднял свою львиную голову с койки, на которой лежал, и, вскочив, быстро подошел ко мне. Он говорил мало, но лицо его просветлело от какого-то внутреннего света, – и понял я, что не ошибся, обращаясь к нему.

– Куда же я назначу вас, – сказал З. И после некоторого раздумья продолжал: – Вас можно было бы устроить в канцелярии; но я вижу, это вас не устроит. Вы будете у меня на первой пятидюймовой пушке.

«Так мог сказать только человек, который все понял. Конечно, не для того, чтобы прятаться по канцеляриям, я шел сюда. Я не знаю еще, на что и как я буду годен. Трудно профессора приспособить к пушке». Но так надо.

С капитаном Д. я разговаривал в нашей теплушке, куда он часто заходил к молодежи. Он любит эту кадетскую молодежь. Да и трудно ее не любить. Я живу с ними в теплушке уже две недели. Я старше их в среднем лет на двадцать. Я вижу, как жизнь искалечила многих, выбила из колеи так, что трудно им будет жить в нормальной обстановке. Целая пропасть между мною, который прошел огонь и воду тончайших построений ума, изысканнейших проявлений человеческого духа, и ими, прошедшими огонь и воду ужасов и грубостей войны. Целая пропасть между мной, который пошел сюда как на высшее служение, который осветил все духом средневекового аскетизма и, пожалуй, романтики, и ими, которые пошли на это... так просто. И я люблю их. Я не замечаю их нарочитой грубости. Они – это лучшие герои нашего безвременья. Это – дети, которые все же строят храм лучшей жизни в то время, когда отказываются отцы. И я понимаю Д., который заходил к нам отдыхать.

Капитан Д. интересен, тонок, с каким-то нервным изломом. Он любит Баха – и это уже одно его рекомендует. Он ценит литературу; он понимает, что только вульгарное представление могло приписать Ницше проповедь освобождения от всякой морали. Я думаю, что он незамеченным в бою, что с ним вместе легко умирать. Я слышал о нем, что он превосходный оратор. У него есть общественная жилка. Кое-что рассказал он мне из своего прошлого: в дни революции он проявил себя, несомненно, как настоящий общественный боец. И его взгляды на политику, его понимание того, что многие, увы, не понимают, невольно рождали мысль, которая в последнее время часто возникает во мне:

– Если бы все офицеры были такие, не пришлось бы нам испивать теперь этой горькой чаши.

Но право, хорошо, что приходит эта мысль так часто. Это значит, что таких офицеров у нас много.

И одновременно с ним я познакомился с поручиком Р. Когда я был на орудии, он подошел к орудию и заговорил со мной. Видно было, что это был пробный первый разговор. И действительно, в тот же день мы встретились с ним возле вагона и сразу как-то затронули то, что интересовало нас обоих. Я очутился у него в купе. Поручик Р. – уже пожилой человек, лет под пятьдесят; у него интересный ум, с большой склонностью к математике и философии. Математическую литературу знает он достаточно хорошо, но, к сожалению, поверхностно. Он слушал когда-то лекции в Heidelberg'e, и это, конечно, оставило некоторый отпечаток. Но вместе с тем у него какое-то предубеждение против немецкой науки, и много ценного в ней считает он ненужным хламом. Вообще ведет он даже список сочинений – в своем роде *index librorum prohibitorum*, которые считает бесполезными; не признает математической физики и теории Sophus'a. Против всего этого можно горячо спорить, что я и делаю в часы досуга.

Общее у нас и то, что оба мы (я скажу теперь про себя категорически) религиозны. Он – старообрядец; он с восторгом вспоминает, как старушки монашенки объясняли ему – ребенку – сущность Софии – Премудрости Божией, и объясняли так хорошо, как будто это не было одним из сложнейших достижений греческих гностиков.

Он – один из представителей крупного дела братьев Р. – бросил все и пошел на фронт. Мне нечего было много объяснять ему, каковы были мои побуждения. Но он только переоценивает значение моего шага. Для меня это имеет значение субъективное, личного моего оправдания; он приписывает ему значение объективное, ибо, по его мнению, это может воздействовать на других. Но в одном мы согласны. Для воссоздания армии должны мы образовывать новые кадры не воинов просто, но духовных рыцарей. Не служба просто, но подвижничество должно лежать в основе нашей жизни. Мы должны быть прежде всего аристократами, чтобы волны бушующего плебса не захлестнули наших одиноких маяков.

Завтра мы выезжаем на Каял, а потом в бой, к Ростову. Может быть, убьют. На всякий случай написал прощальное письмо в Ставрополь и просил отправить, если меня не станет. Но в душе нет ни тени волнения. Или изжита жизнь, или действительно достиг я духовным упражнением отречения от собственной жизни?

5 января. Куцевка. База. Мы приехали в Каял, где оставили базу, и утром 3 января в составе четырех орудий двинулись на Батайск. Я стоял на своей первой площадке; впереди видно было железнодорожное полотно. Я смотрел на эти убегающие рельсы, которые вели меня, может быть, на смерть. Чуть не переехали по дороге подводу с бабой. Мелькнула мысль, что это дурной признак. И все-таки душа как бы окаменела – и нет в ней хотя бы легкого волнения. Ну, хотя бы такого, как перед ответственным выступлением, перед лекцией и речью. И не может ли эта твердокаменность смениться в решительную минуту животной паникой?

У Батайска открылся вид на Ростов. Вот знакомые очертания Темерника, вот контуры собора. И до боли обидно, что там – они, что там – совдеп, торжествующий красный совдеп. И с холодной твердостью хотелось пустить туда тяжелый снаряд: Ростов перестал быть городом, населенным людьми. Может быть, там еще скитаются мои застрявшие друзья. Может быть, на Почтовой улице, где живет до сих пор Гольфанд, разорвется этот снаряд. Но в этот час Ростов был для меня исключительно средоточием врага. И не было жалости к людям, как не было жалости и к самому себе. Борьба белых с красными стала какой-то шахматной задачей.

Стали выяснять положение. Ростов действительно в руках красных, и все слухи о его взятии назад – выдумки. Даже больше: красные форсировали Дон и заняли Заречную. Мост через Дон не взорван, и по нему движутся неприятельские бронепоезда. Останавливаются они у небольшого и еще непочиненного мостика. Двигаться нам можно еще не более 200 шагов. Дальше мы попадаем в поле зрения их наблюдательного пункта; кроме того, весь район Заречной пристрелян ими, прямо по квадратикам.

Начались поиски удобной позиции для орудий и наблюдательного пункта. Долго маневрировал паровоз, – казалось, что все кончено, и мы начнем. Но подул резкий ветер со снегом, и наблюдать за стрельбой было невозможно. Решили отложить бой на завтра, оставив одну только полубатарей. Мы, то есть моя пушка, попали в резерв; через два дня должна произойти смена; но ехать едва ли придется, так как на нашей пушке тоже две смены команды. При нормальных обстоятельствах придется ехать 11-го числа.

Грустно было ехать назад. Целых 12 часов тряслись мы назад, в базу, которая из Каяла уехала в Куцевку. В то время как там начинается бой, приходится проводить нудные дни, охраняя на часах какой-нибудь цейхгауз. А впрочем, не важнее ли всего выработать в себе способность безусловно подчиняться? Ведь шел я сюда не для сильных ощущений и не для каких-нибудь внешних знаков отличия. В любой момент, когда призовут, пойду в бой; в любой момент, когда прикажут охранять какой-нибудь вагон со снарядами, потушу в себе мои желания и останусь незаметным винтиком в нашей машине.

6 января. Куцевка. База. Уехала вторая полубатарея, а первая не вернулась. Получилась краткая телеграмма срочно выслать снаряды. Очевидно, идет жаркий бой...

Несколько часов подряд снаряжал бомбы. Это достаточно утомительно, но делаю работу эту с особым, весьма странным ощущением радости. Несколько десятков снарядов будут посланы им завинченные моею рукою. Ходит слух, что наши подбили красный бронепоезд. Верно это или нет – неизвестно; во всяком случае, в Батайске развивается теперь один из эпизодов борьбы...

19 января. Куцевка. База. Совсем неожиданно в ночь с 6 на 7 января я выехал на позицию в Батайск. Там пришлось пробыть целых 12 суток, и только сегодня я приехал в базу, дня на четыре. Впечатления этих 12 дней какими-то слоями еще находят друг на друга. И странно, что то, что ожидалось как будущее, стало уже прошедшим.

Мое боевое крещение произошло 7 января. Мы стреляли сперва по Нахичеванской переправе; потом с наблюдательного пункта на водокачке заметили приближающийся бронепоезд противника. Наше орудие двинуто было далеко вперед – и начался бой.

Странное было чувство какого-то необычайного напряжения. Гаубичные орудия, скрытые где-то справа и слева от нас, подняли ожесточенную стрельбу; и вскоре, как эхо от нашего орудия, раздалась почти непрерывная канонада. Иногда с особым характерным свистом проносился неприятельский снаряд; но не было даже времени обращать на него внимание. Вся мысль была направлена на одно: чтобы вовремя подать снаряд и зарядить орудие, и весь я обратился в часть нашей пушки, которая равномерно, спокойно выпускала снаряд за снарядом.

Уже вечерело. Потянулись серые тени, какой-то дымкой начал подергиваться горизонт. Слева от нас уходили вдаль мирные домики железнодорожного поселка. Но там не было жизни. Рука войны заколотила наглухо деревянные ставни окон: там, между сияющим огнями Ростовом и нами, в волнах подымающегося вечернего тумана, как в складках белесоватого савана, за этой рукой войны вырисовывалась смерть...

Какой-то черный столб взвился над крайним домиком: разорвался неприятельский снаряд. Через секунду такой же черный столб взвился с левого борта орудия, шагах в пятнадцати. Через мгновение снаряд упал направо от нас и опять взвил за собой черный фонтан земли. И опять не было времени подумать – куда же упадет следующий неприятельский снаряд. Но снаряды перестали падать: должно быть, неприятельский бронепоезд ушел домой по направлению к Ростову. Стало уже темно. Мы ушли на прежнюю позицию.

Мы собрались в кабинке у первого орудия. Мы ничего не ели и не пили за весь день. Было приятное утомление от тяжелого дня, который окончился для нас благополучно. Комброн – командир бронепоезда – капитан З. был доволен этим ушедшим днем. При свете керосинового фонаря, у чугунной печки, собрались мы все, солдаты и офицеры орудия. Мирно кипел чайник, рассказывая какую-то песню; недоставало только сверчка на печи.

– Жаль, что вчера вы не были у нас, профессор, – сказал капитан З. – Вчера было много интереснее. Помните, справа от нас, немного ближе к депо, идет поле: там кончается деревня.

Вчера мы отбили наступление конницы Буденного. Они подошли всего версты на три-четыре, – продолжал капитан З., – и мы были против них одни. Конница Топоркова должна была подойти с минуты на минуту, и на нас легла вся тяжесть сдержать их кавалерию. Да, мы здорово побили им морду. Но вот явился Топорков. Это был самый критический момент. Мы видели, как его конница построилась, как пошли они в атаку, как красные поспешно отступили...

Вестовой подал капитану бумагу. Тот нагнулся к огню, прочитал ее и сказал:

– От командира дивизиона: сегодня ночью приказано обстреливать Ростов. Первый обстрел в час ночи, второй в час сорок минут.

В маленькой кабинке нашего орудия ярко горела печка. На скамьях, на табуретках сидели мы все, уже тесно спаянные в одну боевую семью. Были раньше офицеры и солдаты: теперь мы все соратники одного дела. Я прилег на одну из скамей и смотрел на огонь, который вспыхивал, бросая на потолок причудливые тени. Вот точно так же колебались тени, когда, юношей, я сидел на кресле перед камином в нашем старом доме. Падали угли в каминную решетку; черные обугленные поленья, как башни сказочного замка, объятые пламенем, выступали на фоне золотого огня.

Я любил сидеть перед камином и мечтать. И мечтал я больше всего о том, как сделать мою жизнь красивой и достойной. И тогда еще, юноше, казалось мне, что жизнь моя должна быть прежде всего подвигом. Во имя чего – я не знал этого. Я знал только, что я последний отпрыск древнего баронского дома. За мною, в глубь веков, уходили мои предки – наместники, верховные судьи, ученые, поглощенные изучением древних книг, военные, духовные, изощренные в тонкостях иезуитской диалектики, и все они – далекие и близкие – требуют от меня

чего-то, чтобы я был достоин их, чтобы я опять вернул их роду прежний блеск и прежнюю силу. Дед и отец порвали связь с далеким Западом и затерялись в снегах холодной России; внуку надлежит здесь вернуть обаяние отдаленных веков.

— И выйдет внук, — писал я, —

...и сойдет из высокого замка.

Будет он биться, последний наследник их чести,

Будет он биться жестоко, не зная пощады,

С жаждой победы, с жаждою славы и мести...

Дрова в печке весело трещат, освещая темные амбразуры для пулеметов и тяжелые железные двери нашей бронированной камеры. Так же трещал камин, когда я, в близком для меня доме, где я находил успокоение и радость жизни, готовился к последней борьбе за свободу народа. Меня ждал суд, на который должен был предстать я, политический преступник. Я бросил вызов трусливо сидящим и безропотно повинующимся. Я готов был биться, — теперь я уже знал за что, — за свободу народа, за его счастье, при котором мое личное счастье и моя личная свобода кажутся пустяками. Они судили меня, но я был спокоен, смотря судьям, сияющим золотыми цепями, прямо в глаза.

Я гордо принял вызов их,
Когда меня они судили,
Когда, блестя в цепях своих,
Меня цепями перевили...
И это был не горя миг,
Но миг борьбы и ликования:
Он был прекрасен и велик
И для меня был оправданьем...

И вот теперь я снова борюсь. Борюсь уже не с чем-то абстрактным за величие рода моего, не с гнетом абсолютизма за свободу моего — да, моего — народа, но с теми, кто так близко, на другой стороне Дона, стоит торжествующий и заливают кровью страну. И теперь я не мечтательный юноша, не пылкий студент, не народный трибун, не общественный деятель, не ученый профессор: я теперь солдат. На левом рукаве моей английской шинели — трехцветный треугольник. Наши дети будут гордиться этими скромными лентами.

Около часа выехали мы вперед по направлению к Ростову, по двум параллельным путям. Рядом с нами, вплотную, стало орудие капитана Д. Мы откинули борты, и обе наши площадки соединились в одну. Странно: еще сильнее почувствовалось наше единство. Эта возможность перейти с орудия на орудие как будто еще спаяла нас общностью действий.

Кругом была черная ночь. Нахичеванские огни блестели яркой короной. Над Ростовом стояло зарево электрического света. Туда мы пустили сейчас десятка два бомб. И в грохоте выстрелов, в блеске оружейных вспышек, когда темными силуэтами выступают наши фигуры, чувствовалось то упоение боем, которое, по выражению поэта, живет:

...И в Аравийском океане,
И в дуновении чумы...

А наутро туда, где третьего дня отразили конницу Буденного, потянулась вновь наша кавалерия. На фоне степных холмов черными группами строились всадники. И далеко, далеко, как только мог хватить глаз, до мельчайших подробностей видны были эти конные фигуры, которые уходили в туманную даль. А там, на горизонте, рвались шрапнели и предательскими вспышками обозначались неприятельские батареи.

Туда пошлем мы сейчас снаряды. Мы не только едины в нашей бронепоездной семье; мы, и наша кавалерия, и наша пехота, – мы едины в славной Добровольческой армии. Она возрождается, эта армия. И Деникин, которого в одной статье я назвал бесстрашным воином и безупречным гражданином, ведет всю эту единую армию к новым победам. Надо стать, как он, не только бесстрашным воином, надо совершить еще более трудное – стать безупречным и не похожим на наших врагов.

В сводке корпуса отмечено действие бронепоезда «На Москву». У меня уже развилось чувство профессиональной гордости. Это большая честь и большая тяжесть – быть первым среди равных.

Поручик Р. сказал сегодня, что выше идеала единой России стоит идеал правды и добра, за который мы боремся. И тем, которые скажут, что Россия стоит превыше добра, можно ответить хорошей английской фразой:

– Дорогая моя, я не любил бы тебя так сильно, если бы я любил тебя больше своей чести...

Я понимаю это. Почти то же сказал я, расставаясь с любимым человеком, чтобы идти в армию, когда она погибала.

Двенадцать суток пробыл я на позиции. Были дни затишья. Были дни интенсивной работы. Раз выпустила одна наша пушка 160 снарядов за день. На нас наступало 11 большевистских полков. Их атаки опять отбиты.

Я грязен, как последний угольщик. Мои руки покрылись салом, углем, керосином и какой-то корой. Но мне радостно, что я работаю в этой лаборатории будущей России. Какой-то невероятный мороз с резким северо-восточным ветром. Мы все продрогли. Из дня в день все дрожит в нас от холода. Мы не спим целыми ночами. Но мы бодры, как в первый день. Ни холод, ни полуголодное существование не сломят нашей решимости. Если нас прогонит Кубань, мы уйдем всей нашей семьей вслед за Деникиным, погрузимся на пароход, но рано или поздно мы пробьемся к Москве. Только там будет наш отдых. Только там мы сможем сказать нашей родине: «Ныне отпускаеши раба Твоего... Яко видеста очи мои спасение Твое...»

Приехала смена – и опять я поживу четыре дня в базе, вымоюсь, приведу себя в порядок. Но только подумать страшно, – всего 64 версты ехать не менее целых суток. Вот тут видно, до чего мы дошли. Эшелоны темные, неосвещенные, пройдут одну-две станции, остановятся на неопределенное время и опять каким-то толчком продвинутся верст на десять. Так в умирающем организме сердце, лениво и вяло, проталкивает кровь, сделает один-два удара, остановится, раздумает и опять протолкнет, чтобы остановиться снова. Страна умирает. Но не умирает вера, что она оживет вновь.

27 января. Куцевка. База. Я хотел скорее уехать на позицию и уже получил разрешение от командира орудия, поручика Юрия Л., но капитан З. вызвал меня и заявил, что я ему очень нужен для составления доклада в высшие сферы и дня два-три он меня задержит.

Доклад, по мысли капитана З., должен, во-первых, изложить картину нашей жизни во время боев и, во-вторых, картину тех возмутительных беспорядков, которыми полна деятельность интендантства и железнодорожной администрации. Благодаря их произволу и бездушному, бумажному отношению мы сидели холодные и голодные на передовых позициях, отставая от неприятеля переправы через Дон. На время этой работы я освобождался от всех нарядов.

Конечно, доклад – это более мне свойственно, чем что-либо другое, только я никак не пойму, какой должен быть его тон. Капитан З., видимо, хочет яркого описания боев и лишений нашей жизни; но такой полуфельетонный тон никак нельзя совместить с докладом генералу; доклад должен быть выдержан в сухом, деловом тоне. Вечером я читал проект капитану З., который им явно не удовлетворен. Он находит его бледным и хотел бы более красочных и сильных выражений. Но тогда никак нельзя совместить этот тон с полуофициальным обращением.

Я дал тетрадь с моими записками капитану Д. Через некоторое время он принес мне ее в теплушку и передал мне четыре странички исписанной почтовой бумаги в качестве ответа.

Я при нем прочитал про себя его письмо. «У Вас за спиной крылья, – пишет он, – на сердце – радость; в душе энтузиазм и горение. А я настолько моложе и меньше Вас. Я завидую Вам, как нищий богачу, Вашим переживаниям, в которых Вы больше всего юноша с таким живительным огнем... Моя душа прошла как раз обратный путь.

Я впервые почувствовал, что начинаю зябнуть, когда мы отражали конницу Буденного... Мои казаки и кадеты, как дети, испытующе смотрели мне в глаза и искали, как прежде, в них спокойствия и огня, а я почувствовал внутри себя ледок, что не могу им дать той гипнотической силы, которая увлекает других и может бросить без рассуждения на смерть. Я, кажется, Вам говорил, что только как грубый воин, грубым словом я поднял в них энергию и силу. Вы, как аристократ духа, осудили меня за это; а я понял, что это первые аккорды финала моей пьесы».

В этот момент, когда вся душа моя рвалась к нему, я не мог перекинуться с ним хотя бы парой слов. В нашей теплушке был народ; у него в купе – тоже (он живет не один).

– Мы сейчас пойдем с вами гулять, – сказал я ему.

И мы пошли вдвоем в станицу.

Был резкий ветер. Вечерело. В станционном садике, где вчера висели на страх всему миру два повешенных солдата за дезертирство, обледенелые ветви деревьев стучали, как какие-то кастаньеты. Мы вышли в поле, а потом в унылую, нудную станицу, какую-то безлюдную и почти злобную. А мне хотелось теплой комнаты, где мы вдвоем могли бы нащупывать дружескую душу, где был бы рояль, который запел бы под ударами нервной руки; где можно было бы идти не только с ним рядом, как двум случайным спутникам, но взять его нежно за руку, погладить его голову, поцеловать его, как целуют ребенка...

Вечером, после того, как я читал капитану З. проект доклада, я был неожиданно приглашен в офицерское собрание. Это, собственно, довольно необычное приглашение, ибо до сих пор, кажется, ни один солдат не был приглашаем в офицерскую столовую. Капитан З. встретил меня и предложил место за одним из маленьких столиков – на четыре прибора, кроме меня, за столиком сидели поручики Я. и Р. После ужина мы остались вчетвером, обсуждали вновь проект доклада, а затем капитан З. попросил меня прочесть мои записки.

У меня было двойное чувство: с одной стороны, было неловко приступить к чтению интимных записок, где были, кроме того, характеристики двух офицеров. Но главное, после письма капитана Д., которое начиналось словами: «Вы дали мне свою тетрадь и с ней частицу своей души», мне казалось, что это будет ужасно, когда он узнает, что частички своей души я раздаю так легко. Но я вспомнил, что неоднократно с поручиком Р. говорили мы о необходимости пропаганды во имя создания воинов нового типа. Мне показалось, что мои записки есть пробный камень для такой пропаганды. И я прочел все с небольшими пропусками.

Сегодня днем мы вновь обсуждали доклад. Капитан З. опять не пускает меня на фронт, хотя мне так хочется – пока есть возможность скорее приступить к снятию панорамы Ростова с наблюдательного пункта. На графленой бумаге должны быть нанесены угломеры всех главных пунктов в Ростове и Нахичевани. Конечно, мне, как математику и отчасти чертежнику, эта работа более подходяща, чем приборником подталкивать снаряд. Если же применение этой панорамы облегчит обстрел Ростова, то, конечно, это важнее, чем бумажные доклады разным генералам. Но капитан З. твердо решил ехать не раньше начала февраля и до того времени не отпускать меня на позиции. Буду пока мариноваться в милой Куцевке.

28 января. Куцевка. База. Вчера, во время обсуждения деталей доклада, возникла мысль, чтобы вообще связаться с внешним миром и общественными кругами. Капитан З. вполне основательно думает, что легче всего было бы осуществить это через Союз торгово-промышленных деятелей Центральной России, построивший наш поезд, и что следовало бы командировать в Новороссийск поручика Р. Тот категорически отклонил это, в форме, не допускающей возражений. Тогда капитан З. сказал:

– Для этой цели можно было бы командировать Владимира Христиановича...

Меня охватило какое-то необычайное приятное чувство. Поехать в Новороссийск с официальной миссией, увидеть опять наших общественных деятелей, завертеться в сферах Государственного объединения, Национального центра и Союза возрождения показалось вдруг чрезвычайно заманчивым.

Но едва ли легко наладить эту связь. Да вообще, где все они, в Екатеринодаре или поближе к морю на случай «драпа» – в Новороссийске? Я знаю только одно, что профессор А. В. Маклецов, правитель дел Национального центра, в настоящее время в Новороссийске, и узнал я это совершенно случайно. Я проходил по перрону Кушевского вокзала, на стене висел номер «Вестника Штаба». Среди разных сообщений было напечатано, что находящийся в Новороссийске харьковский профессор Маклецов опубликовал список последних жертв красного террора в Харькове. Среди перечисленных фамилий я с ужасом увидел фамилию присяжного поверенного Б. П. Куликова.

Как трагична судьба Бориса Павловича. Я любил его за его блеск и за какой-то юношеский огонь. В «социалистической думе», сидя на местах народных социалистов, он громил большевиков часто с большим остроумием и пафосом. Когда я в декабре 1917 года вступил в число гласных этой печальной памяти думы, он – старый муниципальный деятель – ввел меня в первое заседание.

Пришли немцы, воссиял на киевском престоле ясновельможный пан гетман, – и пришли, наконец, большевики. Красный туман заволок все вокруг. Суд был упразднен, сословие присяжных поверенных разогнано, и объявлен набор «правозаступников». Лучшие силы харьковской адвокатуры отклонили с негодованием это предложение, и адвокаты третьего ранга, сомнительные «ходатаи по делам» наполнили кадры нового института. Среди видных имен было только двое адвокатов, пошедших в правозаступники; один из них был Б. П. Куликов. Большевиков прогнали – и сословие присяжных поверенных судило тех, кто в тяжелые дни большевизма изменил знамени присяжной адвокатуры. Б. П. Куликов защищался с какой-то запальчивостью. «Не вы – а мы были хранители лучших традиций, – бросал он своим противникам. – Как врач не имеет права отказать в помощи, так и адвокат должен прежде всего защищать. И чем суд несовершеннее, тем больше – его долг»...

«Неделя о правозаступниках» кончилась, для Б. П. Куликова оставила резко испорченные отношения с прежними друзьями, испорченную общественную репутацию и толкнула его, естественно, в оппозицию к существующему строю. «Вы правее, – сказал он мне однажды. – А я левее с каждым днем». Он был наиболее ярким представителем тех, кто отказывал Добрармии в каком-либо признании, для кого приход ее был испорчен силою событий... И когда все бежали из Харькова, он – как тогда говорили – остался там. Жаль человека, талантливого, экспансивного, но неустойчивого. Умереть от руки большевиков, и после всего того, что произошло с ним, – это несчастье, выше которого не представишь.

Когда я вернулся в теплушку и лег на свою койку, я вдруг почувствовал, что ко мне – незаметно и тихо – подкралось искушение. Мне казалось, что я сжег свои корабли; что по крайней мере до занятия Москвы я останусь только солдатом, что мое прошлое подверглось забвению. И вот постепенно, совсем незаметно, вынырнуло это прошлое. Сперва кое-кто из офицеров стал называть меня «профессором». Потом у меня в руках появился портфель, с которым я стал путешествовать с проектами докладов. Потом я очутился за ужином в офицерской столовой и стал называть в неофициальной беседе командующего поездом Владимиром Николаевичем. И наконец, вынырнул вопрос с общественными деятелями и даже о командировке в Новороссийск. Все это создает душевную смуту. И хуже всего то, что у меня не хватает сил бороться с искушением.

Скоро ожидается наступление на Ростов и приезд на позиции Сидорина и Деникина. Я чувствую, что люблю Деникина так, как солдат может любить своего вождя. Я вспоминаю

«Войну и Мир», где описывается это чувство любви к государю, когда хочется просто умереть на его глазах. Такой же любовью люблю я Деникина, этого благородного страдальца за русскую землю.

Я ненавижу Кубань, куда судьба загнала меня. Здесь все так противно и чуждо. Нудный скучный пейзаж, однообразный до тошноты, то есть, правильнее, отсутствие всякого пейзажа. Просто ровная доска, без зелени деревьев, без пригорков, без долин, наконец, почти без воды. Такой же противный и климат. Утром может быть весна, а вечером мороз с противным леденящим ветром. Морозы держатся упорно, и кажется, нет им конца. Люди хмурые и противные. В Ростове я видел эту здоровенную казачню, которая драпала по Садовой и Таганрогскому проспекту. Шли на «родную Кубань», обнажили фронт – и им, этим здоровенным мужикам, не было стыдно. Но, конечно, венец кубанского безобразия – это их знаменитая Рада. Тон, с которым они заговорили с Деникиным, есть тон лакея, почувствовавшего силу... И у этого лакея нет намека на чувство государственной перспективы... В момент, когда усилиями донцов и остатков Добровольческой армии так счастливо налаживается сопротивление, они готовы отправить нас на Принцесы острова, на Мальту – куда угодно, только бы стать «самостийными». Может быть, последнее им и удастся; но не более чем на месяц-другой.

30 января. Кушевка. База. Вчера я шел по перрону с капитаном Д. и моим товарищем, Мишей Коломийцевым. Навстречу нам шли две молодые дамы с каким-то офицером и солидным полковником. Я сделал подобающее случаю выражение лица и отдал полковнику честь. И вдруг одна из дам резко обернулась и сказала: «Ведь это наш профессор»... Кто она – я не знаю. Мы попробовали пойти вслед за ними, надеясь, что они вернуться, но они пошли куда-то прямо и скрылись из виду. И странно – вдруг захотелось безумно узнать, кто эта курсистка, и познакомиться. Опять прошлое выплывает ярким пятном. Опять из солдатской шинели выглядывает «профессор». Опять нарушается спокойствие духа, которое можно обрести только в полной нивелировке и отречении от прошлого.

Сегодня я получил предложение ехать в Новороссийск, не в форме приказания, но в форме вопроса: не хочу ли я? Во всякое другое время я поехал бы. Но теперь, когда ожидается наступление на Ростов, я не могу уезжать. Я отказался.

1 февраля. Кушевка. База. Недавно в дивизионе супруги Н. получили письмо из Екатеринодара, от профессора К. Сейчас же стало известно это всему поезду и произвело большую сенсацию, ибо письмо получено по почте, а не с оказией. Мы уже перестали верить в почту и живем в этом отношении настоящими дикарями; теперь будем понемногу к ней приучаться.

Супруги Н. играли большую роль в истории моего поступления на бронепоезд. Когда в Харьков вступили добровольцы, он – приват-доцент университета – поступил добровольцем на бронепоезд. В Ростове, когда я уже решил поступить в армию, я узнал от профессора К., что Н. приехал в Ростов и не сегодня завтра будет у него.

– А нельзя ли мне поступить в бронепоезд? – неожиданно для самого себя сказал я.

– Едва ли. Это очень трудно без протекции, – ответил К.

Но мне всегда удавалось в жизни, если я сильно желал. При сильном желании получается уверенность, полная уверенность в том, что то, что я желаю, исполнится. И если только *такая* уверенность явится, не было ни разу, чтобы я не достиг цели. И тут вдруг явились и желание, и уверенность. И когда я встретился в кабинете у К. с М-м Н., в моем голосе звучали уже нотки гипнотической воли. Я сказал ей прямо о желании поступить на поезд и о моей просьбе к Василию Никитичу предпринять нужные шаги. Она сразу поняла меня, не протестовала – и видно было, что она сделает все. На следующий день я имел свидание с Василием Никитичем. Он счел своим долгом пространно изложить, как трудно будет мне на бронепоезде. К. слушал молча – и иногда неопределенная улыбка пробегала по его лицу. Когда Н. кончил, я твердо сказал:

– Обратитесь к полковнику Б., чтобы меня зачислили. – Это было последнее мое слово.

Вера Ростиславовна Н. – молодая дама с тонким лицом и совершенно белыми волосами. Она прекрасно владеет иностранными языками и в Харькове, в редакции «Новой России», была переводчицей. Я с ней встречался каждый день, сухо кланялся, несмотря на то что очень ей симпатизировал, и уходил в кабинет редактора. Только в Ростове, в кабинете у К., я почувствовал к ней необыкновенное доверие и дружбу. И когда я уже был зачислен солдатом, я поцеловал ей руку и сказал:

– Благодарю вас, что вы помогли мне исполнить долг моей чести...

Я знаю, что она носит с собой всегда цианистый калий, на случай пленения большевиками (она живет с мужем в дивизионе). Я попросил у нее нужную порцию; она обещала.

Накануне отъезда на позицию в первый раз я пришел к ней в купе. Это было на Новый год. Она лежала в сыпном тифу, но была в сознании. Она сейчас же вспомнила о своем обещании и передала мне маленькую пробирку с белым порошком. Я не имел бы никакой уверенности на позиции, если бы у меня не было этой последней возможности гордо умереть: в плен я не сдамся. Я сказал об этом поручику Р. Он ответил:

– Это нехорошо. Это грех.

Но я не вижу в этом никакого греха. В последнюю минуту, на глазах у врагов, которые будут меня обступать, я проглочу этот белый порошок.

Завтра я уезжаю на позиции с боевой сменой. Что-то должно произойти на днях: или наше наступление, или наш разгром. Мы сдали Одессу; большевики подходят к Ставрополю. Если это так, то мы далеко выдвинулись клином. Как будто нехорошо в Крыму. Но при всем этом не падаешь духом, потому что смерть входит – как *ultima ratio* – в мою программу. На фронте сейчас Деникин. На фоне очертаний Ростова его фигура полна символического значения.

Сегодня я с капитаном Д. приглашен был на ужин в дивизион. Было совсем как в хорошем семейном доме. Любезный хозяин, полковник С., и интересная симпатичная его жена, мать моего молодого друга, кадета Пети. Была чистая скатерть, хорошие приборы. Как давно не ел я такой рыбы и таких котлет. А потом погасили лампы, и при свете голубой лампадки перед образом я и капитан Д. стали читать стихи. Я следил за красивым лицом Ольги Николаевны; временами пробегала по нему какая-то тень. И я знал, почему это: завтра вместе с нами уезжает в первый раз на позицию Петя. И мы оба, в сущности, прощаемся перед боем. Откланявшись, я зашел в купе к Вере Ростиславовне. Я люблю ее все больше и больше. У нее такие лучистые глаза, после болезни.

– Дай Бог вам всего доброго... – сказала она, а потом вдруг остановилась. – Дайте я вас перекрещу...

Я припал к ее руке своими губами, и казалось, что передо мной моя мать. Я торопился, потому что надо было становиться на дежурство. Как тяжело простоять три часа в холодную морозную ночь. Д. дал мне свою шубу, но все же руки и ноги почти отмерзали, и вспоминалась мать. Ее овальный портрет, похожий на старинную миниатюру, я ношу всегда в левом кармане френча.

Звезды блестят на бархатном небе. Захотелось петь о чем-то далеком и ушедшем. Ремень винтовки резал плечо – и боль эта, физическая боль, вместе с болью моего духа выливались тоже в какой-то ритм. И нараспев, иногда поправляя неудачные фразы, я читал вслух новые стихи, вылившиеся этой темной ночью:

Всегда, когда иду в бой,
Твой портрет я беру с собой...
На сердце, сжато комком,
Его овал ляжет щитом.
Твой сын готов муки несть,

Умирая за отчизны честь...
Дорогая, во имя любви,
Его на подвиг благослови,
Пусть твой образ спасет меня
Не от пуля и не от огня.
Если нужно, – сквозь портрет дорогой
Пусть пуля пройдет иглой.
Но пусть твой овальный щит
От смятенья дух охранит,
Чтобы смерть воспринять с лицом,
Озаренным счастья лучом...

И я шагал мерно с ружьем на плечах, делая паузы на многочисленных цезурах.

На других постах так же мерно ходили другие.

5 февраля. 2 часа ночи. Батайская позиция. Все спят в кабинке орудия, кроме меня. Топится печка, завывает ветер... К вечеру 2 февраля я вновь вступил на борт моей английской леди – виккерсовской пушки. А наутро из штаба корпуса стало известно, что 3-го будет наступление на Ростов.

Полковник К., который только что вернулся из отпуска и теперь вступил в должность комбронна, собрал всех офицеров в нашей кабинке. Нам предстояла тяжелая и ответственная задача. Первая ударная полубатарея с пушками капитана Д. и поручика П. должна идти далеко вперед, почти туда, куда пройдут легкие бронепоезда; наши две пушки поручиков Юрия Л. и С. останавливаются на повороте (месте весьма пристрелянном большевиками) и вступают в бой, поддерживая головную полубатарею. Выступление должно произойти в ночь с 3-го на 4-е.

Необыкновенное чувство торжественной радости охватило меня. Весь день ходил я с мыслью о том, что хорошо приехать вовремя. А вечером, несмотря на резкий ветер и мороз, я гулял и делился с ним своими переживаниями. Накануне смертного боя вырастали наши души. И в первый раз, расставаясь, поцеловались мы, как два брата.

Как трудно писать почти в темноте, без стола, держа на коленях тетрадь, к тому же не карандашом, а углем для рисования, который то и дело отказывается писать. Но я хочу сегодня побеседовать с самим собою.

Ночное выступление отложено на следующую ночь. День прошел в полном бездействии. Я был в кабинке у капитана Д., и говорили мы о всяких пустяках. А потом пришел к себе и увидел, что наши офицеры, вместе с полковником, организовали блины. Поручик П. приготовил оказавшийся очень вкусным форшмак, капитан З. на самодельной сковородке пек блины, как заправский повар. Присутствие полковника чрезвычайно стесняет. Я знаю, что он любит «цукать». Моему товарищу по теплушке юнкеру Кузнецову влетело раз от него за то, что, войдя, он приложил руку к козырьку и сказал первым:

– Здравия желаю, господин полковник...

Кузнецов получил замечание. А в другой раз тот же Кузнецов вошел с докладом о числе снарядов на орудии:

– Вы просили, господин полковник, доложить вам...

– Не просил, а приказал...

– Извиняюсь, господин полковник...

– Не извиняюсь, а виноват...

Конечно, я могу наделать тысячу lapsus'ов, а подвергаться замечаниям, да еще в резкой форме, неприятно. Я остановился у дверей, приложив руку к козырьку. Полковник ел блин, не замечая меня. Простояв секунды две, я опустил руку и подошел ближе к столу, надеясь поймать его взгляд и успеть козырнуть.

– Не хотите ли блина, Владимир Христианович? – спросил капитан З.

– Ради Бога, подождите, – сказал я ему на ухо, – я еще не успел приветствовать полковника...

Действительно, блин в руке очень осложнил бы мое положение. Наконец, я улучил минуту и вовремя козырнул. Тот улыбнулся и сказал:

– Доброго здоровья.

– Здравия желаю, господин полковник.

Теперь можно было приняться за блины и водку, которую не пил со времени банкета в честь генерала Бриггса. Это был поистине изумительный банкет. Курск был сдан, и очередь шла за Харьковом. Но у нас не думали о сдаче. В большом зале коммерческого клуба, убранном пальмами и цветами, стоял громадный стол в виде буквы П, кувертов на двести. Английский генерал сидел рядом с генералом Май-Маевским и городским головою Салтыковым в самом центре. Было много речей (я говорил от имени партии народной свободы). Было весело, сытно, как в Москве в доброе старое время – так же пьяно. Но сознаюсь, только раз, между рыбой, приготовленной на вине, и ростбифом с соусом из трюфелей, мне показалось, что это пир Валтасара и что кто-то чертит на стене роковые слова. А через три недели все, кто собрались в этом зале, были далеко отсюда, трясясь по темным, холодным теплушкам. В Харьков в это время вступала Красная армия.

Прошли еще сутки. Наступление как будто отложено. Слышно, что взяли Торговую, что в Крыму восстание. Тяжело быть в это время добровольцем. Тяжело – и почетно.

Сегодня вечером пришел в гости командир бронепоезда «Генерал Самсонов». Ели блины, пили водку – и в душе страдали, что наступление не вышло. И вдруг раздались выстрелы с неприятельского броневика. Побежал к телефону. Приказано было открыть огонь. Никогда не забуду этих десяти выпущенных снарядов. Это была «офицерская работа», по выражению капитана З.; наши солдаты спали далеко в вагоне, и из солдат был только один я. Поручик П. наводил орудие, капитан З. подавал снаряды, поручик Алексей Л., вызывая всеобщий смех, подталкивал его пробойником, я вставлял патрончик и по команде «огонь» держал за шнурок в каком-то диком азарте. Стало весело, как во время детской шалости. Десять тяжелых снарядов полетело в Ростов. При блеске одного из выстрелов увидел я капитана Д., подошедшего к борту.

– Владимир Николаевич, разрешите стрелять моей пушке. – В его голосе звучала мольба и что-то детское: так просят дети, когда боятся, что им откажут.

– Хорошо, будем стрелять взводом...

И когда рядом с моим выстрелом стал раздаваться выстрел капитана Д., чувство буйной радости упоения боем окрасилось радостью от близости друга.

И только что кончилась наша симфония пушек и капитан Д., взволнованный, прибежал в нашу кабинку, раздалось приказание по телефону:

– К пяти часам утра быть готовым к наступлению.

6 февраля. 6 часов утра. Батайская позиция. Вот уже седьмой час – и не было приказа к наступлению. Капитан З. говорил по телефону с дивизионным: приказано было готовиться к пяти утра не потому, что предполагаем мы выступить, а потому, что, по агентурным сведениям, сегодня предполагается их наступление. В эти жмурки играем мы уже целый месяц.

Как упало опять настроение. А вчера ночью, после стрельбы, душа рвалась в бесконечную высь, и тело, которое так цепляется за жизнь, должно было замолчать в этом сиянии духа. И опять я с капитаном Д. бродил в ночной мгле, в адский мороз и ветер. Но нам было тепло: нас согревала дружба. И не говорили мы друг другу, но кричали, кричали – и смеялись, и почти плакали. И были мы оба молоды, как два шестнадцатилетних юноши.

Наконец, приближался этот миг, когда мы должны были поставить нашу жизнь на карту. И этот банк, который мы хотели сорвать, был Ростов. Что бы отдали мы, если бы ворваться в

этот наглый город. Ведь, взяв Ростов, мы кладем на чашу весов первый груз, который должен потянуть весы к нашей победе... Капитан Д. посмотрел на небо, и казалось мне, что в его глазах блеснуло отражение этих далеких звезд.

– Это не фразы, – почти кричал он, заглушая ледяной ветер.

– Но сейчас, дорогой мой, я умер бы с радостью за нашу дорогую мечту. Я не испугался бы ни пуль, ни бомб, ни шрапнелей – и я сумел бы и людей повести спокойно на смерть, как водил их раньше, в первый месяц Добрармии...

И вдруг он наклонился ко мне и голосом, в котором было столько душевной теплоты, сказал:

– А потом – вера моя падала и вместе с ней моя сила. И должно быть, судьба или Бог – это все равно – послал мне вас, штатского человека, который влил мне новые силы своей верой и своим огнем.

Ледяной ветер почти срывал мою легкую английскую фуражку (я не люблю наших теплых камилавков, которые при английском костюме выглядят особенно безобразно). Но должно быть, действительно, во мне разгорался огонь.

– Друг мой, – сказал я ему, – поручик Р. убеждал меня, что значение здесь мое гораздо больше, чем быть каким-то номером пушки. Теперь я в это верю. Вот вы пройдете завтра вперед, гордый и сильный, так как и в вашу программу вошла смерть. И если я хоть немного помог вам в этом, я помог и всему нашему делу, и всякий наш успех я разделяю с вами...

И вспомнилось мне, как вчера в кабинке произошел разговор. Поручик Юрий Л. сказал, что мне можно бы было поступить в наводчики. Поручик П. ответил ему:

– Я думаю все-таки, что надо настоящего наводчика (он назвал фамилию одного из солдат). Он парень смысленый, и его можно бы подучить. А ведь профессор – это так, для удовольствия...

Я ничего не возражал, да и смешно было бы возразить. Что мог я сказать? Что искусство наводчика требует смекалки и вовсе не требует физической силы? Полагаю, что если солдата, даже очень смысленного, надо еще учить, то меня учить панораме нечего. Что наводчик должен быть хладнокровным в бою? Но ведь они уже видели меня во время боя, и я могу утверждать, что никто никогда не видел моей растерянности.

Значит, отчего? Оттого, что я для многих – маргариновый солдат; подделка под солдата; должно быть, «барину» просто захотелось проделать все это «для удовольствия». А если бы догадались посмотреть в мою душу! И открыли бы они за этой оболочкой полуштатского человека душу настоящего солдата. Из всех, кто сейчас окружает меня, только капитан Д. знает это так же, как и я.

– Так вот она, эта ночь, может быть, накануне смерти... – сказал я ему. – И это совсем не так, как обычно описывается... А впрочем, вот что: я не знаю, где прекратятся эти записки. Если они прекратятся раньше, чем я бы этого хотел, продолжайте эту историю «Москвы» дальше.

– Я обещаю вам, хотя очень этого не хочу. Хотелось бы, чтобы обе наши истории прекратились вместе...

И снова попрощались мы с ним долгим поцелуем.

10 февраля. Батайская позиция. Это было 7 февраля, когда мы получили приказание взять Ростов. Мы вышли довольно далеко, оставив позади себя наблюдательный пункт, и открыли огонь из всех орудий. Морские орудия, которые стояли где-то рядом, открыли также пальбу по городским батареям. Нам не отвечали. Решительные минуты еще не подошли. Казалось, что это обычная стрельба, которую вели мы не раз за этот месяц. Но вот в городе, в районе вокзала, раздалась трескотня пулеметов. Все громче и громче. Это пехота корниловцев ворвалась со стороны станицы Гниловской. Там, в этом городе, который скоро должен быть наш, разгорался бой.

Наш поезд медленно и плавно пошел вперед. По обводному пути мы проехали мимо взорванного моста. Громадная железная ферма одним концом держалась за устой быка, другим – беспомощно касалась земли. Внизу, за бугорком, расположились солдаты, направляющиеся на Ростов. Мы проехали дальше и вошли на длинную дамбу, обсаженную ветлами. Справа и слева ширилась необозримая белая равнина. А впереди виднелся Ростов, прямо в двух шагах от нас. Простым глазом можно было различить улицы, дома, все детали, которые раньше скрывались под покровом тумана. Мы остановились. И минуты через три с характерным свистом пронеслась первая шрапнель и разорвалась далеко за нами. Потом вторая, третья. Потом тяжелый снаряд – один, другой, распространяющий черный дым и целый фонтан земли.

Я сошел с боевой площадки. Почти все уже слезли тоже с поезда и ходили по насыпи, в одиночку и группами. Ко мне подошел К. В это время снаряд, просвистев над нашей головой, врезался шагах в восьми в близстоящую ветлу.

– Ну как, Гога, весело?

– Да, весело, – сказал он. И не было в нашем голосе ни тени столь естественного страха. Было на самом деле весело.

Подошел Д.

– Я с вами, – сказал я ему. Мы посмотрели друг другу в глаза.

Огонь становился все сильнее. Я вошел в бронированную кабинку, где сидел поручик П. И только успел я войти в нее, как по телефону раздалась команда:

– К бою...

– Откинуть борты, – скомандовал Пирожков.

Я вышел из дверей кабинки. Над головой низко, низко проносились почти ежесекундно неприятельские снаряды. Под этим обстрелом придется сейчас работать на открытой площадке. Когда я выходил из дверей кабинки на площадку, что-то засосало и заныло под сердцем. «Пустяки», – подумал я и уже совсем твердо и холодно стал с солдатами опускать борты. Что-то пролетело над головой, что-то разорвалось где-то близко-близко, но я уже перестал замечать эти летящие бомбы. Повернув рукояткой пушку дулом почти на борт, мы стали ощупывать одну из неприятельских батарей. Поручик П. работал на панораме прямой наводкой. После каждого выстрела смотрел он в бинокль. И вдруг, почти в восторге, закричал:

– Попали! Вот они из-за угла домика приводят лошадей, увозят пушку с опасного места.

Теперь можно было хоть немножко отдохнуть. Полковник К., который за болезнью полковника Б. замещал сейчас командира дивизиона, с большим биноклем в руке, вошел на нашу пушку. Я приложил руку к козырьку.

– Здравствуйте, профессор... Ну что, вы теперь довольны?

Почти над нашей головой разорвался бризантный снаряд.

Да, я был теперь доволен. Мне не раз приходило в голову замечательное, по моему мнению, произведение Ибсена «Борьба за престол». В этой изумительной драме выводится образ мрачного епископа Николаса. Он ненавидит мир, потому что мир насмеялся над ним. Две страсти когда-то были у епископа: женщины и война. Но, сладострастно желая женщин, Николас не мог получить удовлетворения. Желая страстно быть полководцем, Николас выказывал в бою позорную животную трусость и бежал с поля чести. И боялся я более всего, что мечты мои, в которых хочешь всегда видеть в себе героя, сменятся на деле тем животным страхом, когда лязгают зубы и подгибаются колени. И вот этого не было. Я оставался совершенно спокойным. И только временами, как признак слабости, возникала одна и та же мысль: «Господи, почему так долго, так много часов подряд... нельзя ли скорее...»

И вдруг к общей симфонии разрывающихся снарядов присоединились новые.

Ведь это легкий бронепоезд. Возьмем его на прицел... Мы сделали три выстрела. Четвертый снаряд был уже вложен – оставалось мне дернуть шнур.

– Огонь!

Я дернул шнур; и с обычным грохотом, после которого иногда раздается какая-то боль где-то далеко в ухе, вылетел снаряд. Но пушка как-то неожиданно вздрогнула всем своим телом, как-то конвульсивно подпрыгнула и безжизненно опустилась...

– Сорвалась.

Наша пушка выбывала из строя в самый разгар операции.

12 февраля. Степная. В пути. Мы продолжали стоять на дамбе. Снаряды были уже для нашей пушки бесполезны. Под убийственным огнем неприятеля стали перегружать их с нашей пушки на соседнюю пушку Д. Пока была работа, весь этот свист и гул разрывающихся снарядов производил мало впечатления. Но вот работа кончилась, и каким-то бесполезным и выбитым из строя вернулся я в свою кабинку.

Пушки продолжали гроыхать. Одна неприятельская трехорудийная батарея особенно яростно обкладывала нас огнем. Снаряды рвались над самым полотном с какой-то дикой злобой. И опять под сердцем начала зарождаться какая-то тоска. Я почувствовал, что устал. Я вышел из кабинки на полотно. Уже стало темнеть; но снаряды – то бомбы, то шрапнели – продолжали рваться, то далеко перелетая над нами, то ложась у самого полотна. Я вошел в пулеметный вагон и сел около печки. Глаза слипались. Ушел куда-то вдаль продолжающийся бой. По телу разливалась приятная истома. Я заснул.

Проснулся я, когда было уже совсем темно. Я вышел из пулеметного вагона – и сердце заколотилось от прилива какого-то восторга. Мы стояли на середине громадного железнодорожного моста через Дон. Громадные скрепы его железной арки, эта ажурная грандиозная ферма казалась на фоне темного неба одновременно и грандиознее, и ажурнее.

Мы – в Ростове. Первая тяжелая задача выполнена. Армия доказала, что она может исполнять приказы вождей. Поезд дернулся и медленно, осторожно, как слепой, ощупывающий путь, пошел дальше. Вот этим самым путем ходил я из Гниловской в Ростов, в те дни, когда я еще колебался – как мне отрешиться от прошлого и пойти в армию. Еще сажень сто – и мы приедем. Моя нога ступит на ростовскую почву. Еще не успели мы доехать, как вошел поручик Алексей Л. с небольшим мешком.

– Взял в брошенных большевистских запасах – бульон «магги»...

Это было весьма кстати. Хлеба не было, мы были все голодны, и от усталости чувствовалось это особенно сильно.

– Позвольте, я сварю их для всей команды.

Я налил полведра воды и бросил туда штук пятнадцать кубиков «магги». В нашей печке весело трещал огонь. Я поставил на него ведро. Теперь в кабине я был один: все вышли на вокзал. Я знал, что многие ушли за «военной добычей», и я остался нарочно, чтобы не видеть в этот торжественный для меня час человеческих лиц, искаженных алчностью и жадностью. Пусть в эту минуту Добровольческая армия не поворачивается ко мне другой стороной медали!

Прошло уже два месяца с тех пор, как я вступил на бронепоезд. И за все это время я только два раза был один без людей. Однажды случилось как-то, что из теплушки ушли все, кроме меня. У меня очень покладистый характер, и я легко переношу тяжесть общежития. Подобно тому как во время боя я могу концентрацией мысли и воли не замечать разрывающихся снарядов, я могу в шумной компании двенадцати человек быть один и заниматься собственными мыслями и собственным делом. Но когда я вдруг остался на каких-нибудь пять минут в полном одиночестве, мне стало так легко и так хорошо.

И вот теперь я вновь оказался в одиночестве. Вправо от вокзала, в районе Садовой, раздавалась трескотня пулеметов; на печке мирно кипел бульон – и в душе после бури и напряжения царил мягкий покой. Понемногу стали подходить с добычей: тюками сахара, табаку, спичек, кож и прочего товара. Наш боевой погреб был разгружен еще сегодня днем, после кончины нашей пушки; сейчас он сделался универсальным складом Мюр и Мерилиза. Я знаю, что это естественно, что бороться с этим трудно, что иногда военная добыча – это вполне закон-

ное дело. Но мне обидно было, что на месте снарядов лежат теперь товары, что лицо воина превращается в лицо купца.

Кабинка уже наполнилась людьми. Стало совсем тесно. Нашли где-то краюху черного хлеба. Я наливал бульон по кружкам и раздавал желающим.

– Нет уж, господин профессор, это пойло заячье, – сказал казак Харитонов, сплевывая на пол.

– Разве не вкусно?

В это время вошел полковник К...

– Вы, говорят, профессор, угощаете бульоном, – сказал он. – Дайте мне кружку. Ну как вы себя чувствуете?

Я не успел ему ответить, как вступил в разговор поручик П.

– Профессор был совсем молодцом, – сказал он. – Представьте, работал под нулевой вилкой, как нипочем. Открывали борты. Пронесся снаряд и разорвался в трех шагах. Я уже думаю – наш профессор без головы. А он ничего – стал стрелять.

– Когда же это было? Я ничего не заметил, – отвечал я. Действительно, я этого не помнил.

– А помните, была рядом с вами ветла, а потом, когда опустили борт, ее уже не было, – сказал поручик П.

– Да, теперь я припоминаю.

И я вспомнил только теперь эту ветлу, которая как подкошенная упала под откос, и этот снаряд, который со свистом где-то пронесся близко-близко над головой. Да, к счастью для меня, все это было.

Вечером приказано было вернуться в Батайск; в Ростове оставались только легкие поезда. И когда приехали мы на прежнюю позицию, темная прежде станция Батайска блестела электрическим светом. На севере, там, где сиял еще вчера Ростов, был беспросветный мрак. Так Батайск торжествовал победу над Ростовом.

На следующий день мы испытали тяжелые минуты. Утром стало известно, что красные вновь взяли вокзал. Снова раздалась из города пулеметная и орудийная стрельба. Стреляли, кажется, из-за города, за Темерником. Потом выстрелы стали стихать, и к вечеру все успокоилось. Ростов и Нахичевань сделались нашими...

Наконец – это было 9 февраля – я смог поехать в Ростов. Поверх шинели я надел английскую сумку; положил в нее полотенце, мыло, немного сахара и мои записки; первое, что я сделаю, разыщу Г. Идти в только что занятый город было небезопасно. Я накинул за плечи английскую винтовку и обвязался патронташем. Я сошел с паровоза с нашим чиновником С. и каким-то офицером. Решили идти все вместе, пока не выяснится положение. Мы прошли несколько шагов и повернули на гору, на Темерницкую улицу.

Сколько воспоминаний. Ведь сколько раз ходил я по этому въезду в Ростов, который так нервно ожидал красных полчищ. И по этому же спуску я провожал свою невесту и прощался с ней на маленьком мостике на путях; я шел направо, в бронепоезд, стоявший на вокзале, она – налево, в Гниловскую. Был яркий солнечный день, слегка морозный. И первое, что нам повстречалось, была старушка с корзиночкой в руках.

– Бабушка, дайте пирожка, проголодались, – сказал С., обращаясь к старушке.

– Родненькие, дорогие мои, берите, милые, берите, Господь вас благословит. Уж дождалась я светлого праздника, спасибо, Царица Небесная... Кушайте, солдатики, кушайте...

Я никогда в жизни не ел таких вкусных пирожков. Я шел, держа в руке пирожок и уплетая его. В душе моей все сияло. Встречались люди, незнакомые и чужие. И смотрели они такими восторженными глазами, что, казалось, нет такой жертвы, которую жаль было бы принести, – лишь бы испытать восторг этих чужих и близких глаз.

– Вот они, идут, спасители наши...

– Родные, как измучились...

Боже мой, какое это счастье – войти в освобожденный город и чувствовать, что ты сам принимал участие в его освобождении. Что ты рисковал жизнью как воин, а не как зритель. Что идешь ты теперь запыленный и грязный – и идешь гордо, как раньше никогда не ходил, одетый в чистое белье и лучшие одежды.

– Со счастливым возвращением... Присяжный поверенный (он назвал свою фамилию). Это моя жена.

– Как я рада, как я рада.

Я иду дальше, уже теперь один. Я спешу к Г., на Почтовую улицу. Меня останавливает дама:

– Вы спасли моего мужа. Он сидел в Чрезвычайке. Если бы не вы...

Дама плачет.

– Я так счастлив, вы не представите себе...

Кругом собирается публика. И вдруг раздается вопрос:

– А сколько у вас сил? Прочно ли вы заняли город?

И в вопросе этом чувствуется *страх*. Я иду дальше по Почтовой улице, нахожу тот дом и ту квартиру, где живет Г. Дверь заперта; я напрасно стучу – никто не открывает. Сверху с лестницы сбегает чья-то прислуга.

– К кому вы стучите? Там никто не живет... – говорит она.

– Как никто? А где же женщина, у которой жили на квартире два молодых человека?

– Ее теперь нет... а впрочем, если хотите узнать ее адрес – этажом выше живет ее брат.

Я почти вбегаю к нему на квартиру и объясняю, в чем дело. Тот говорит, что она переехала куда-то на Сенную; адрес ее он сейчас скажет. Один из ее квартирантов З. уехал на Кубань, когда совершилась эвакуация Ростова; Г. в Ростове, и адрес его знает его бывшая хозяйка.

– Она переехала всего два дня тому назад... Ведь в их квартиру попала бомба. Г. сидел в своей комнате с невестой. В соседнюю комнату упал снаряд, разворотил мебель, разбил балкон.

По времени попадания это мог быть только пятидюймовый снаряд. И очень возможно, что именно я пустил его к Г. своею рукою. А ведь я так часто думал об этом... Я уже сидел у них за столом, пил чай и закусывал холодным заливным. Мальчик лет десяти, сын хозяйки, смотрел восторженными глазами на мою винтовку. Глаза его горели. Он нежно трогал ее рукой и повторял:

– Я буду военным. Я буду военным.

Я поблагодарил любезных хозяев, записал адрес и отправился на Сенную. По дороге меня не раз останавливали, не раз благодарили и почти всегда испытующе спрашивали:

– Надолго ли вы пришли?

Что я мог ответить им? Я говорил, что думаю, что Ростов мы не только взяли, но и удержим. По слухам, уже Новочеркасск занят нами. Против Ростова был двинут целый Добровольческий корпус отборных войск.

– А вдруг «товарищи» вернутся?

Но я так верил в нашу победу, в наше наступление, я так хотел дальнейшего нашего следования на север, что моя вера заражала других. И еще приветливее, еще восторженнее провожали они меня глазами.

Хозяйка Г. жила в большой еврейской семье. Было много мужчин, много женщин. В столовой, куда меня привели, стоял большой столовый стол.

– Садитесь, садитесь, – любезно приглашал меня хозяин. – Закусите, чем Бог послал, а потом мы вас проводим прямо к Г.

Выпили по рюмке коньяку.

– За ваше здоровье.

Я рассказал им, что делается по ту сторону роковой черты. Что Верховным правителем Юга России является генерал Деникин, что осуществлена федерация казачьих областей, что Мельников является председателем совета министров, а Тимошенко – председателем Верховного круга; что, наконец, генерал Шкуро жив и командует Кубанской армией. Почти все было им ново. Они слушали внимательно. Наконец, один из присутствующих спрашивает:

– А как обстоит теперь национальный вопрос?

И какая-то женщина сразу расшифровала его:

– Будут ли погромы?

Я ответил им, что могу ручаться, что Деникин и высшее командование настроены резко против погромов и, вероятно, каково бы ни было настроение отдельных лиц, погромов не допустят. Я говорил – и в моем голосе, прежде уверенном и сильном, не было уже прежней уверенности и силы. Я думал о многом виденном и слышанном, и мне становилось стыдно.

Я встретил Г., под руку с его невестой, недалеко от его квартиры. Еще минута – и мы бы разошлись. Его невеста – моя бывшая ученица по гимназии – узнала меня первой. Тот прямо остоленбел; наконец, обнял меня и поцеловал.

– Я бы вас никогда не узнал, – сказал он. – Вы так поправились и помолодели. Наконец, у вас такой боевой вид.

И когда мы проходили в его квартиру мимо большого трюмо, я с интересом посмотрел на себя. Большого зеркала не видел я уже два месяца. И сейчас, когда я посмотрел на него, я увидел запыленного и грязного боевого солдата, обвешанного сумкой, винтовкой и патронташем. И сквозь пыль и грязь моего лица светились глаза, в которых играл какой-то юношеский блеск.

Первое, что я хотел, поделиться с Г. моими впечатлениями. Я начал ему читать свои записки.

– Я завидую вам, – сказал он, когда я кончил. – У меня так смутно и тревожно на душе... Ведь я совсем собрался с Ниной в Харьков; задержало меня только неожиданное взятие Ростова.

Мы перешли в столовую. На хозяйском месте сидел его дядя, любезный седой старичок. Было непривычно есть за белоснежной скатертью, так, как полагается в хорошем буржуазном доме. После обеда я простился и пошел с Г. посмотреть на Садовую.

– Зайдем в кафе «Франсуа», – сказал я ему. В этом кафе собирались мы, все харьковские беженцы. Хотелось именно посмотреть, что делается там. Барышня меня сразу узнала. Приветливо кивнула и подошла к столику.

– Два по-варшавски и два по-турецки, – заказал Г.

Мы сидели с ним за столиком – и опять мне казалось, что это какой-то счастливый сон. Вся Садовая была запружена народом. Посередине двигались солдаты и конные разъезды; по тротуарам с обеих сторон шла непрерывная человеческая стена. И взоры почти всех, особенно молодых девиц, улыбались, как будто знакомому. И глаза многих говорили восторженно:

– Герой.

И я стал совсем юношей. Я почти плакал от счастья. И вспомнил я, что на Пушкинской живет мой приятель, приват-доцент Е. Это он говорил мне, что иду я спасти «погибшее дело». Там я должен сегодня быть.

Мое прибытие произвело целую сенсацию. Кто-то пустил слух, что наш поезд разбит, и он уже считал меня погибшим.

– Помните, вы говорили, что дело добровольцев погибло, – сказал я.

– Я ничего не понимаю. Это чудо, – ответил он.

– Да, чудо, но надо верить в чудеса, чтобы они были, – продолжал я, но, вспомнив, что уже седьмой час, а в семь мне надо быть на вокзале, поспешно откланялся.

– Оставайтесь ночевать.

– Нет, уж лучше завтра, я отпрошусь у командира сразу дня на два.

И я быстро побежал на вокзал. Улицы были совершенно темны, и на них не было ни души. Не встречались даже солдаты. Я шел по этим темным улицам со светлой и радостной душой. «Боже, – думал я, – Ты посылаешь все-таки счастье. И для того чтобы пережить один такой день, как сегодня, я готов перетерпеть еще десять ураганных обстрелов, готов быть раненным во время боя. Ты дал мне счастье, Господи, участвовать во взятии Ростова. Ты дал мне счастье положить первый камень для нашего возрождения».

13 февраля. В пути. Куцевка. На вокзале пришлось долго ждать и стало досадно, что я так торопился. Зал первого класса был совершенно пуст; только маленькая группа наших солдат стояла у одной из колонн. Несколько железнодорожных служащих с каким-то азартом складывали тюки награбленного сахара и ящики со спичками. При ярком свете электрических ламп, при полной пустоте большого зала такой грабеж казался особенно циничным.

Было около 11 часов вечера, когда я с группой наших офицеров протиснулся в вагон отходящей летучки. В вагоне было почти темно; чья-то стеариновая свеча, прикрепленная к окну, тускло освещала грязный вагон четвертого класса. Старый генерал-корниловец устраивался удобнее в одном из отделений, сбрасывая какой-то грязный матрац, лежавший на одной из скамей. Ему помогли вышвырнуть этот матрац; сразу стало свободнее.

– Господа, здесь есть места, садитесь, – сказал генерал.

Я сел как раз против него. Свеча освещала его умное и интересное лицо с подстриженной седой бородкой. В руках у него был костыль. Разговорились. Говорили о денежной валюте, об экономическом нашем крахе, о том, как во Франции исчезли сантимы и остались су. То же произошло и с нашими копейками: их нет, и самая мелкая единица, пожалуй, – это пять рублей.

– Да, Ваше Превосходительство, только вера в конечное торжество нашего дела способна поддержать наши силы, – сказал я. – И вот первый шаг сделан – Ростов взят.

Генерал как-то странно переглянулся с корниловским офицером, и от этого взгляда захолодело у меня в душе. Я вспомнил, как на вокзале подошел к нам чиновник С. и сказал:

– Мне передали из штаба Корниловской дивизии, что под Торговой и Тихорецкой обнаружен глубокий обход и поэтому Ростов будет сдан.

– Поменьше распространяйте такие панические слухи, – ответил ему резко поручик Алексей Л.

И вот теперь, в этом взгляде генерала, вдруг почудилось мне, что это правда.

– Вы радуетесь занятию Ростова, – продолжал генерал. – Но я считаю, что вообще наступать теперь не следует: нам надо уйти.

– Уйти?... Но куда же, Ваше Превосходительство? На Мальту?... На Принцевы острова?... В Сербию?..

– Нет, нам не надо покидать родной почвы. Есть неприступная узкая полоска земли – между Сочи и Туапсе. Мы должны щадить нашу драгоценную (я говорю это без всякой иронии) жизнь. Туда надо стянуть остатки славной Добровольческой армии – и ждать. Может быть, год, два, три. Дождаться, когда бабы пойдут с вилами... Плод еще не созрел; тогда он упадет прямо на нас – и тогда только мы должны выйти. Пока мы дружим с Англией, Черноморский флот в наших руках, – продолжал генерал. – Это будет действительно неприступная наша твердыня. Пусть нас соберется немного, тысяч двенадцать, но отборных войск, готовых на все. Пусть там не будет духа наживы и спекуляции, которые создают наши войска. Пусть соберутся там те, в ком жив дух незабвенного Корнилова...

Мне хотелось поставить точку над «i».

– Ваше Превосходительство, разве вы не чувствуете, какое значение для всех имеет взятие Ростова? Это первый шаг к дальнейшим нашим победам. Какой счастливый день я испытал сегодня в городе. Я торопился, но я сегодня же попрошу командира отпустить меня в Ростов дня на два...

– Взятие Ростова – это новые лавры в венок Добровольческой армии и большая ошибка, – сказал генерал. – Вы в этом скоро убедитесь. А командир – я в этом уверен – уже не отпустит вас в Ростов...

Для меня стало почти все ясно. И когда мы остановились и я шел по темным путям, чувство ужаса и отчаяния сменило прежнее ликование. Я едва взобрался в свою кабину.

– Владимир Николаевич, это правда? – спросил я капитана З. Капитан сидел с утомленным видом и пил чай.

– Да, если к четырем часам ночи положение не восстановится, Ростов приказано оставить.

Совсем разбитым, я стал снимать винтовку и патронташ. Оставалась одна только надежда на чудо. Но еще Тургенев сказал, что все молитвы о чуде сводятся к одной: «Господи, сделай так, чтобы дважды два не было четыре». Что отдал я бы за чудо? Я видел перед собою Ростов, эти восторженные лица, эти тысячи глаз, которые смотрели на меня с надеждой и радостью. Мы обманули их. Завтра проснутся они – и увидят, как мы бросаем их на произвол красных палачей. И если бы в ту минуту сказали мне, что ценой невероятных пыток можно спасти Ростов, я отдал бы себя на мучение, и они были бы для меня высшей радостью.

Я стал раздеваться. А кругом говорили, как делить захваченную добычу. Как такой-то казак уже «загнал» товару на 58 тысяч. Какие цены стоят на сахар и кожи. Тяжелым дурманом свалился на меня сон. И только светлой полоской блестела в душе слабая искорка надежды – надежды на великое чудо.

Настало утро – и стало ясно, что Ростов сдают. В первый раз за все время моей военной службы на меня напало какое-то отчаяние. «Почему не убило меня тогда, 7 февраля, – думалось мне, – я умер бы с сознанием, что мы одерживаем победу».

– Какой вы сегодня мрачный, – сказал Петя. – Вас, должно быть, загонял поручик П.

У поручика П. – начальника орудия нашей смены – действительно тяжелый характер. Он контужен в немецкую войну, нервен и раздражителен до крайности. С большинством из моих коллег у него выходили недоразумения. Но я подхожу теперь к людям с особым масштабом «*Tout comprendre, c'est tout pardonner*». Мне хочется теперь именно остаться у него, чтобы доказать – главным образом себе, – что человеческая душа прекрасна и если отбросить мелочи, то можно найти ключ к любой душе. Я уверен, что сумею работать с ним.

Милый Петя! Тебе тоже тяжело оставлять Ростов. Но ты так молод, так непосредственно любишь жизнь, что удар этот не раскалывает болью твоей души...

– Как мне тяжело в службе связи... Как я хочу на орудие... – говорит Петя, сидя у телефона, и шепчет на ухо: «Дайте мне кусок хлеба, я ничего не ел».

Я отрезаю хлеба и, чтобы не смущать его, потихоньку передаю ему. И так же осторожно наливаю ему чаю... Какое ужасное время, когда почти дети должны воевать!

Ночь. Я выхожу на площадку. Теперь там, на той стороне Дона, уже большевики. Ростов и Нахичевань в полной тьме. Только над Ростовом стоит зловещее красное зарево пожара.

14 февраля. 2 часа ночи. Куцевка. В пути. Пока мы воевали, наша база уехала двумя станциями дальше – в Шкуринскую. Это может при современных условиях передвижение стоить двух дней пути. Я уже сбился со счета, сколько суток мы путешествуем. Так хочется поскорее в базу, вымыться, переодеться и немного отдохнуть. В кабине все спят; одному не хватает места. Целую ночь придется мне провести без сна. Дрова все вышли; и несмотря на то, что стала теплая погода, холодная сырость пронизывает меня всего.

Поручик П. проснулся от холода и говорит сквозь сон:

– Ради Бога, накройте меня шинелью, я так зябну.

Я набрасываю на него шинель и закрываю его. С каждым днем отношения наши делаются лучше.

– Я виноват перед вами, – сказал он мне вчера, – до Ростовского боя я был о вас совсем другого мнения. Я думал, что вы – буржуй и поступили сюда, как многие, которым некуда деваться. Теперь я вижу, что это не так.

Я считаю это признание большой победой. Для большинства я должен казаться или таким драпающим буржуем, или Дон Кихотом. Чем больше людей поймут мою психологию, тем больше я буду прав, ломая свою жизнь ради идеи активной борьбы за попираемое право.

Я еду в Москву. Как усложнилось это путешествие. Прежде билет в sleeping-car, свежая простыня в уютном купе, несколько часов езды, и освещенный электрическим светом перрон Московского вокзала. Теперь несколько месяцев стоянок, путешествие по нудным кубанским станциям взад и вперед, артиллерийский бой, дни без пищи и ночи без сна. И все это входит в то же самое путешествие в Москву. И если придется ехать куда-нибудь на Мальту – для меня это будет часть путешествия все в ту же златоглавую столицу. Придется ли доехать до цели? Не разорвутся ли рельсы моего тернистого пути? Не свалится ли мой поезд с высокой насыпи, которую я соорудил для него из моей любви и моих страданий? Не встретит ли меня смерть на каком-нибудь полустанке, чтобы сказать, оскаливая зубы:

– Выходите... пересадка...

В твоих руках, Господи, моя судьба. Но ядвигаю мой сумасшедший экспресс по одному ориентиру. На скрещении нитей моей панорамы виднеются златоглавые купола Московского Кремля...

Литургия верных

23 февраля. Екатеринодар. Совершается великое таинство жизни и смерти. Почти для всех, кого я встречаю, наступают дни ужаса и отчаяния. Кажется, что рушатся прежние устои. Кажется, что Антихрист, восседающий в Кремле, торжествует победу над поруганным Христом. И готовы люди проклясть самое служение Христу – ибо печать Антихриста видят во всем сущем на земле. Для меня же совершается великое таинство. Чей-то голос, подобный раскату грома, произнес роковые слова: «Елицы оглашении – изыдите...» И кончается литургия оглашенных. Начинается литургия верных.

Ровно две недели тому назад я был в Ростове. Ходил по ростовским улицам, видел восторг освобожденного города и верил в нашу победу. Мы погнали большевиков, которые бежали в панике, оставляя нам свои орудия, бронепоезда, свое имущество и свои запасы. И теперь мы шли бы вперед, в Донецкий бассейн. Но кубанцы дрогнули, обнажили фронт, частью разошлись по станицам, частью предались врагу. Пришлось оставить Ростов. Пришлось сдать Батайск, который, как белый Верден, почти два месяца отражал удары большевиков. А затем покатила красная волна по Кубани. Едва успевают наши поезда отходить от наступающих врагов. Наша армия загоняется к Черному морю.

Все наши четыре орудия, вслед за моим, вышли из строя. Осталось одно пятое орудие Виккерса, отнятое у большевиков с бронепоезда «Товарищ Ленин». Нам нужно чиниться – и мы летим стрелою в Новороссийск. Но нет уверенности в том, что мы действительно будем чиниться и недели через три пойдем назад, в бой. Почти все говорят, что в Новороссийске мы бросим базу, испортим окончательно орудия, а может быть, вместе с ними будем посажены на пароход и транспортированы в Крым. Там составим мы ядро верных нашей идее, и чем больше оглашенных отойдут от нашей литургии, тем чище и полнее будет наше последнее служение.

24 февраля. Екатеринодар. Несколько дней тому назад командир заявил всем казакам, что держать он их не будет насильно и желающие могут быть с поезда откомандированы. Почти все казаки заявили об уходе.

– Как ужасно, что бегут они как крысы с тонущего корабля, – сказал капитан Д.

Но мне, наоборот, стало радостно так, как бывает во время опасности, когда что-то торжественное спускается с горных вершин. Мы остаемся одни – человек шестьдесят, вместе с офицерами. Не будет этого подразделения на «мы» и «они». И я сказал капитану Д. о начавшейся литургии верных.

На следующий день казаки одумались – ушло только несколько человек. Мы будем и впредь иметь половину команды, которая сомневается, куда ей идти. Что толку в этих сомневающихся? Не пора ли поставить вопрос о чистом добровольчестве, об ордене духовных рыцарей, куда принимаются только после искуса.

Н. совсем пал духом. Желчно и зло доказывает, что дело наше безнадежно погибло. Сметается над моей верой со злорадством, каким-то исключительным. Он проклинает тот день, когда вступил добровольцем. И добровольцы, и большевики в его глазах одинаковые грабители. У большевиков даже есть то, чего нет у нас, – организованность. Порядочному человеку нет места среди Добровольческой армии – и он мечтает пойти на комиссию, получить отставку, отряхнуть прах от ног своих.

– Поступая сюда, я думал, что совершаю великое дело, а теперь – не будет ли это позором, – сказал он. – Вместо идеи Великой России приходится защищать дело авантюристов.

И он с радостью очутился бы теперь в Москве, где он мог бы заниматься наукой и в кругу своих единомышленников отводить душу.

Между мною и им легла непроходимая пропасть. Меня возмущает эта интеллигентская расхлябанность, а его – мое упорство, которое в его глазах граничит с глупостью. Через каж-

дые два слова он подчеркивает, что, «рассуждая логично», он приходит к этим выводам. Я думаю, что человеческая логика не всегда проникает в бездны Божьих путей. В Кущевке один интендантский чиновник (между прочим, офицер) сказал, что на английском обмундировании он переменит форменные пуговицы на штатские: неуместно русскому офицеру носить герб с собаками. А по-моему, особенно уместно. Там есть два девиза. *Honny soit qui mal y pense, Dieu est mon droit.*

В Екатеринодаре посетил профессора К. Обрадовались, расцеловались. Он так же интересен, сдержан, элегантен и свеж. Только много белых волос засеребрилось на его висках. В маленькой комнатке, куда пришло много беженцев-профессоров, я читал по их просьбе свои записки. Оказалось, что присутствовавший Богдан Кистяковский возился с Кубанской радой, кого-то инструктировал и чуть ли не составлял какие-то законопроекты. То, как я поносил кубанцев и их Раду, приобрело особую пикантность. Странная судьба Кистяковских: Игорь устраивал самостийную Украину, Богдан устраивает самостийную Кубань. Около К. все в панике. То ли бежать, то ли нет. И больше склоняются, чтобы остаться: героизма бегства надолго не хватает. Да и верно:

Бежать. Но куда же?
На время не стоит труда,
А вечно бежать невозможно...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.